

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. НИНА	7
Часть вторая. ТАТЬЯНА.....	94
Часть третья. АНАСТАСИЯ.....	189
Часть четвертая. МАРИЯ	269
Часть пятая. ОЛЬГА	328
Часть шестая. НЕБО И РАЙ.....	451
Часть седьмая. РОДИНА.....	553

Мне бы броситься в ваши леса,
Убежать от судьбы колеса...
Е. Бачурин. Деревя

Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне...
М. Лермонтов. Сон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НИНА

1 мая 1937 года
Москва. Лубянка

Опять она приходила. Нина. «Надо бы ее спасти, — подумал Кривошеин. — В водовороте знамен и песен ей не выплыть». Он видел фигурку Нины с высоты, светлую и тонкую, как щепочку в волнах. Мимо нее катил поток, вспениваясь красными флагами и пионерскими галстуками.

— «Принято решение вас расстрелять!» — сказал подследственный Медведкин за спиной следователя Кривошеина. — Так прямо Яков Михалыч и бросил в лицо царю...

— Что-то ты врешь опять. Юровский как-то по-другому сформулировал, — сказал Кривошеин, глядя, как Нина ждет поток на тротуаре, непричастная.

Буржуй нацелился ножом и вилкой разделить шар земной и сожрать, но медлил с недоумением на большом лице и сонно покачивался над головами несущих его работниц фабрики «Трехгорная мануфактура». Демонстрация на Красной площади закончилась час назад, но знамена все еще плыли через Лубянку алыми парусами. В Управлении знали, что после первомайской демонстрации или парада Седьмого ноября капитан Кривошеин обязательно являлся на службу и проводил допросы.

— Э-э-э... я вот точную формулировку не помню, гражданин следователь... — сказал Медведкин.

— Ладно. Дальше...

— Ну вот... Тут начались женские крики. А царь забормотал: «Господи боже мой! Господи боже мой! Что ж это такое?!»

Нина дождалась и шагнула в разрыв между колоннами. Ее светло-серый плащ замаячил на другой стороне площади.

— ... «А вот что такое!» — сказал товарищ Юровский и вынул из кобуры маузер.

Тут доктор Боткин еще успел спросить: «Так нас никуда не повезут?» А я уже спускал курок браунинга и всадил первую пулю в царя...

Кривошеин все смотрел, смотрел и не видел больше светлого плаща. А если она уйдет и больше ее не будет? Ведь может так случиться? Что угодно может случиться.

Нет. Нельзя. Невозможно.

Кривошеин отвернулся от окна и сказал Медведкину:

— А товарищ Юровский утверждает, что это он первый выстрелил в Николая.

— При всем уважении к Якову Михайловичу, настоящему большевику и моему боевому товарищу...

— Ну-ну... — осадил подследственного Кривошеин.

— То есть в прошлом мы же вместе... При всем уважении, первым выстрелил я. Я первым сразил тирана и врага трудового народа! А Яков Михалыч просто неточно помнит. Там

же такое началось! Стрельба из всех стволов — слева и справа. На моем пятом выстреле Николай упал на спину! — Подследственный Медведкин оживился. — Женские визги, стоны! Вижу, упал доктор Боткин у стены и лакей с поваром! Женщина кинулась к двери и тут же упала... Ничего не видно из-за дыма. Юровский кричит: «Стой! Прекратить огонь!» Тут смотрим — дочери, царевны, еще живы. Стали достреливать, но ничего не выходило. Тогда Ермаков пустил в ход штык... И это не помогло, пришлось пристрелить в голову. А почему пули и штык не брали дочерей и Александру Федоровну, это мы уж потом, только в лесу выяснили...

Медведкин перевел дух — сдулся.

Трубы с литаврами рвались из репродукторов и сталкивались над площадью с собственным эхом. Кривошеин закрыл окно, все равно свежести не прибавлялось: сквозняк только всполошил запахи, слежавшиеся в углах кабинета, — пота, старой бумаги и почему-то подсолнечного масла.

— Ну... — Кривошеин прошелся за спиной поникшего на своем стуле подследственного.

— Тишина... Мы все оглохли. Тут в правом углу комнаты зашевелилась подушка! Женский голос, радостный такой: «Меня Бог спас! Меня Бог спас!» Подымается горничная — она прикрылась подушками. Пули отскочили от бриллиантов, которые там были зашиты... Кто-то подошел, доколот ее штыком...

— Трехгранным?

— Что?

— Штык трехгранный был?

— Не помню... Ну, тут еще застонал Алексей. К нему подошел товарищ Юровский и три раза выстрелил из своего маузера. Мы с Ермаковым щупаем пульс у Николая — он весь изрешечен...

Кривошеин подошел и залепил Медведкину пощечину. Нет, не за Николая и не потому, что подследственный его чем-то прогневал, — просто чтобы взбодрить. Кривошеин

заметил, что даже совсем свежий арестант, только что от домашних пирожков, получив вдруг по морде, не спрашивал — за что. И никаких там «как вы смеете, не имеете права...». Он лишь замолкал на секунду, а потом продолжал бубнить свое, будто ничего не случилось. Будто это был просто некий сбой в течении бытия — как царапина на граммофонной пластинке.

— Ну так что все-таки сказал Юровский Николаю?

Кривошеин — скучающий учитель — вытягивал ответы из нерадивого ученика. И Медведкин исполнял-таки роль двоечника: мямлил, ерзал, сопел и тоскливо тарачился себе под ноги.

— Вот вспомнил! Яков Михалыч Юровский и говорит царю примерно так: «Николай Александрович! Попытки ваших сторонников освободить вас не удалось. И вот в тяжелую годину для Советской республики на нас возложена миссия покончить с домом Романовых!»

— Опять врешь, скотина, — сказал Кривошеин. — По показаниям других участников, Юровский сказал просто: «Уралсоветом принято решение вас расстрелять».

— Вот как, значит? Ну, может, мне оттого так запомнилось, что момент был такой торжественный, светлый...

— Светлый? Вот когда тебя, сука, поставят перед ямой, я посмотрю, какой это для тебя будет момент.

Медведкин удивился:

— Так они же, Романовы, — кровопийцы! Триста пять лет грабили рабочего человека, крестьянина! Гражданин следователь, я же их... по решению партии! Я большевик с четырнадцатого года! За что же меня?! За что?!

Медведкин заплакал. Это с ним периодически случалось, с большевиком, прошедшим царскую каторгу, Гражданскую войну, коллективизацию и индустриализацию. Он понимал необходимость борьбы с врагами и принимал свою временную роль врага со смирением, веруя, что органы разберутся и вернут его в ряды борцов. Но иногда детский протест против несправедливости прорывался:

— Я жизнь отдам, гражданин следователь! Жизнь отдам за советскую власть! За товарища Сталина!

Разумеется, Медведкин попал на Лубянку не за то, что убил царя. Это деяние советской властью не осуждалось. Он обвинялся в троцкизме и контрреволюционной агитации, и шансов выкрутиться у него не было. И к чему тут был такой пристальный интерес следователя к расстрелу Романовых, подследственный не понимал. Но он вообще уже мало что понимал на третьей неделе допросов.

Кривошеин рисовал на листе бумаги корону за короной. Куранты били в недалеком Кремле. Первой все длился, и длилась казнь.

— ... Никто больше не шевелился. Княжны, царь, царица, наследник и остальные лежали в крови. Надо было выносить. Стали складывать тела на одеяла и таскать во двор к грузовику. Царя вынесли...

— Кто выносил?

— Не помню.

— Что меня удивляет: вы мните себя десницей всемирно-исторического отмщения. Этот расстрел считаете величайшим событием в истории...

— А разве нет?

— Молчать! И при этом никто из вас ничего не помнит! Ни черта! Даже кто первый выстрелил в царя!

Медведкин удрученно шмыгал носом и смотрел в пол. Он совсем потерялся и не понимал, как еще угодить следователю.

Нина сидит сейчас в чайной на Кузнецком Мосту — Кривошеин хорошо изучил ее привычки. Это недалеко, он еще может успеть. Впрочем, если она и уйдет, найти ее не сложно. И все же Кривошеину хотелось увидеть Нину именно сегодня и заговорить с ней наконец.

Кривошеин скомкал лист бумаги с корявыми коронами и бросил в корзину.

— Дальше...

— Ну, мы выносили тела... Кто-то сказал: «Конец династии Романовых...» И тут раздался жалобный вой в коридоре. Вошел матрос и принес на штыке собачку Анастасии, которая еще дрыгалась. Бросил ее рядом с хозяйкой и говорит: «Собакам собачья смерть». Вот это я запомнил...

Все это Кривошеин слышал много раз, задавал вопросы автоматически, заранее зная ответы. И все это была ложь, нелепые выдумки, дымовая завеса, за которой все они, участники казни, скрывали то, что произошло на самом деле.

Кривошеин думал о Нине. Почему опять Нина? Неужели случайность? Или судьба? Или это знак ему? Знак чего? Бросить все? Остановиться? Или, напротив, — идти дальше, до конца, потому что подошел уже близко...

Он встал:

— Хватит! Конвой!

Кривошеин вышел из здания НКВД на Лубянке, пересек трамвайные пути и зашагал вниз по Кузнецкому Мосту. Лотошницы продавали лимонад и мороженое. От мостовых поднимался жар, долгожданный и еще не раздражающий. Мимо пробежали две девушки в соломенных шляпках и белых носочках.

Форма на Кривошеине сидит как влитая; высокий, крепкий, но не из тех красавцев-командиров, о ком мечтают комсомолки майским звонким днем. Лет сорок. Лицо стертое, как застиранная гимнастерка, взгляд обычно мимо, в сторону или под ноги, будто ему уже не на что и незачем смотреть.

Кривошеин остановился перед дверью чайной, подождал чего-то — знака, знамения. Если она там, Нина, то все изменится необратимо. А если ее нет? Улица не давала никаких подсказок: шагали прохожие, тренькали трамваи, милиционер в белом красиво вертел палочкой и свистел пронзительно. Кривошеин понаблюдал за регулировщиком: может, в мелькании жезла и последовательности свистков и зашифровано послание? Но нет, не было знака. Он бы понял.

Подождал еще немного и толкнул дверь...

Из записок мичмана АННЕНКОВА

30 сентября 1919 года

Начинаю эти записи сегодня, в день, когда окончился наш беспримерный поход и Святое Дело Спасения Государя завершилось столь невероятным и чудесным образом.

Я, Леонид Петрович Анненков, мичман Императорского Военно-морского флота, 1898 года рождения, удостоверяю, что все, описанное здесь, есть правда, только правда и ничего, кроме правды.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года я участвовал в операции по спасению Государя Императора и Августейшей Семьи из большевистского плена в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Операция увенчалась полным успехом. Все описанные ниже действия я совершил вместе с тремя товарищами: капитаном Бреннером, ротмистром Караковым и поручиком Лиховским.

Начали мы с ограбления. Задуманная нами операция требовала немалых средств. Нужно было купить оружие и фальшивые документы и иметь солидную сумму на возможный подкуп охраны и большевистских начальников. Кого же ограбить? В восемнадцатом году в России все грабили всех: спекулянты грабили народ и буржуев; анархисты — буржуев и спекулянтов; большевики расстреливали анархистов, спекулянтов и буржуев с конфискацией. Взвесив все за и против, мы решили ограбить анархистов. Грабь награбленное — известный ленинский лозунг.

Для этой акции специально приехали из Петрограда в Москву, где банды анархистов особенно расплодились. По слухам, они захватили в городе три десятка особняков и жили своей вольницей, независимой от большевистской власти, то есть — грабежом. Одно такое гнездо на улице Мясницкой мы и взяли на заметку.

Весь первый этаж доходного дома занимал штаб небольшого отряда. Там анархисты и квартировали, и пировали. Туда свозили экспропрированное у буржуев добро.

За неделю слежки мы изучили их повадки. Добыли план помещения. Узнали, где, собственно, хранятся ценности. Когда основной отряд анархистов отправился в налет, а в штабе остался минимум охраны, мы совершили свою «экспроприацию».

Наша четверка! Сейчас, по прошествии времени, я вижу, насколько ярким воплощением определенного армейского типа был каждый из нас.

Вот капитан Бреннер — мозг и воля группы. В те первые дни — абсолютный для меня авторитет, образец офицера. Тогда он казался мне чуть ли не богом войны (настоящего Бога Войны я повстречаю позже. О нем еще много будет сказано на этих страницах). Бреннер — бывший начальник полковой разведки, обрусевший балтийский немец, но при этом брюнет с орлиным носом, больше похожий на древнего римлянина, или грека, или даже перса благородных кровей. По старшинству возраста (тридцать лет) и звания, а также по единодушному нашему выбору он стал нашим командиром.

Поручик Лиховский, авиатор, высокий, плечистый, как только он помещался в своем аэроплане, когда летал бомбить германцев? Впрочем, «легкий» — слово, все в нем определявшее. Легкий — потому что летун, или летун — потому что легкий. Улыбчивый, уравновешенный, надежный.

А ротмистр Каракоев! Классический драгун с усами, настоящий кавказский витязь с русским именем Владимир. Внебрачный сын осетинского князя и русской гувернантки. Храбрец и верный товарищ.

Что же мне сказать о себе? Думаю, вы хорошо меня узнаете, если дочитаете эти записки до конца. Хотя для общего

представления: мне на тот момент только что стукнуло двадцать, роста я высокого, почти как Лиховский, но положил бы его, зазнайку, на лопатки играючи, если бы пришло нам в голову бороться. Силой не обижен, крепок и жилист. Ну и стреляю хорошо: с полсотни шагов из карабина Мосина попадаю в гривенник семь раз из десяти, если, конечно, карабин пристрелян. Неплохой я боец — без дураков. Вот все и выболтал. Еще и скромность, как видите, одно из моих несомненных достоинств.

А к кому, собственно, я обращаюсь? Вряд ли прибегут к кому-то мои торопливые строчки, это я хорошо понимаю. И тогда вопрос: зачем пишу? Не знаю. Так уж мне суждено.

Так вот, с этими анархистами все прошло как по писаному. Меня нарядили в матроса, и с пятью гранатами под бушлатом я по улице Мясницкой подошел к дверям их штаба. Это было просто, потому что по тротуару свободно сновали прохожие. В то же время Бреннер, Каракоев и Лиховский как бы случайно подъехали в пролетке. У двери болтался часовой в расхристанном бушлате, которого я с ходу застрелил из маузера.

Внутри в разных комнатах пили и спали двенадцать матросов. В каждую комнату по гранате — и достреливать, кто еще шевелится. К дверце сейфа приладили пару гранат. Купюры разлетелись по всей зале, но бумагу мы не собирали. Забрали из сейфа только докторский саквояж, набитый золотом и камушками. Все дело заняло минуты три. Никто из нас не был ранен — только оглохли на время.

Удивительный сброд эти революционеры. И как только им удалось свалить Империю? И где, черт возьми, были мы — с нашей доблестью, фронтовым опытом и любовью к Отечеству? Так я думал, пока мы в пролетке ехали на вокзал...

Что ж, первые строки в тетради. Дальше даль за далью, боль за болью — покатится наш путь. А что потом? Когда постав-

лена будет последняя точка? Не знаю. Кажется, моя жизнь кончена. В двадцать один год.

Во дворце пусто, неприютно. Прежде чем усадить себя наконец за стол к чистой тетради, обходил комнаты Царевен. Ничего здесь от них не осталось: ни забытой перчатки, ни оброненной заколки, ни аромата духов. Но ведь были же они здесь! Были...

За окнами над садом хризантем уплывают последние запахи лета. Ударил гонг, загомонили стражники — это Властитель проследовал в свою резиденцию. Благодаря его милости я один живу в целом дворце. Один.

Ну, довольно. Начинаю по порядку, вернее, как получится. Начал ведь не с самого начала. К нему еще вернусь.

Ну, начинаю уже, начинаю!

Пусть не удивляет неизвестного и неожиданного читателя этих записок точность и подробность, с какой я описываю события по прошествии времени. В Бога я уже не очень верю, но кому-то там, над мирами, нужно, чтобы я сохранил в памяти и описал эти события...

16–17 июля 1918 года

Екатеринбург. Ипатьевский дом

Днем комендант Юровский приехал из Уралсовета — собранный, озабоченный.

— Сегодня, — сказал он и внушительно посмотрел на начальника охраны Медведкина, вышедшего ему навстречу во двор Дома особого назначения.

Медведкин вдохнул глубоко и улыбнулся, словно дождался того самого единственного шанса.

— Всех? — спросил он.

— Всех, — кивнул Юровский. — Кроме мальчика.

Медведкин удивился:

— Наследника оставим? Как же так?

— Да не наследника, — поморщился Юровский, — поваренка Седнева.

— А-а-а... — выдохнул Медведкин.

— Надо его отправить в деревню, сегодня же. Вечером никого лишних тут не должно быть. Только наша группа.

— Понял. А слуги, доктор?

— Всех. Они хотели разделить судьбу монарха — пусть разделят.

— Ну что ж, справедливо.

Речь шла о последней четверке из свиты царя: докторе Боткине, лакее Труппе, поваре Харитонове и горничной Демидовой. Вместе с Романовыми в Екатеринбург прибыли тридцать человек свиты, но одних сразу забрали в ЧК, других отпустили на все четыре стороны, и только четверо выразили твердое желание остаться с монаршей семьей — и им разрешили.

— Должен прибыть грузовик и подводы с кислотой, — сказал Юровский.

Медведкин не понял:

— С кислотой?

— А ты как думал? Их никто не должен узнать даже в могиле...

— А ты чего такой смурной, Яков Михалыч? Наконец-то все решилось!

— Времени мало. Всегда так: тянут, тянут с решением, а потом прыгай как хочешь, исполняй. Ничего не готово.

Юровский прикрыл глаза и потер лоб над переносицей. Груз ответственности давил и изматывал. С четвертого июля, дня вступления в должность коменданта Дома особого назначения, Юровский приходил домой только ночевать. Семья почти не видела его. Белые и чехословаки с трех сторон окружили Екатеринбург и в любой момент могли прорвать фронт, чтобы освободить царя. И если бы им это удалось, партия, да и весь мировой пролетариат, никогда не простили бы Юровскому бегства Николашки Кровавого.

Сорокалетний Юровский — член партии большевиков с девятьсот пятого года. Среднего роста, с копной черных волос; чеховская борода и усы делали его похожим на школьного учителя или земского врача, однако университетов он не кончал, но и пролетарием не был. Как многие революционеры, он был никем, а стал всем — ведь именно ему предстояло покончить с династией Романовых.

Остаток дня прошел в хлопотах. Во двор въезжали и выезжали подводы. Привезли кислоту и керосин. Медведкин предупредил внешнюю охрану: ночью в доме будет стрельба — не обращать внимания, нести службу, как обычно, и ни под каким видом не входить в Дом до особого распоряжения. Что за стрельба, Медведкин не объяснил — все и так понимали.

Ближе к полуночи ждали грузовик, на котором планировалось вывезти трупы, но его все не было. Медведкин поехал за ним в гараж.

За стенами Ипатьевского дома раскинулась июльская ночь с полным небом звезд и невнятными голосами рыбаков на реке. После полуночи часовые внешней охраны заметили движение в доме. Через щели в заколоченных окнах замелькали свет и тени.

Царь, царица, дети и свита — все одиннадцать человек — спустились со второго этажа в угловую комнату первого с подушками, пледами, саквояжами, сумками и тремя собаками. Им сказали, что ввиду наступления белых их перевезут в другое место и нужно дожидаться автомобилей.

— Здесь даже стульев нет! — возмутилась Александра Федоровна.

Принесли два стула. На один сел царь с наследником на руках, на второй — царица. Остальные переминались у стен, сонные, растревоженные.

За стеной нервничал Юровский, мерил залу шагами. Тут же маялись шестеро товарищей, отобранных для этого дела. Грузовика все не было. Комендант не хотел начинать, пока не придет транспорт: оставить тела лежать в комнате даже на